

С. В. ПОЛЯКОВА

О ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РОМАНОВ
ЕВМАТИЯ МАКРЕМВОЛИТА И ФЕОДОРА ПРОДРОМА

Скудость источников, проливающих свет на жизнь Феодора Продрома, и полное отсутствие сведений о Евматии в сочетании с пренебрежением исследователей к византийскому роману XII в. были причиной того, что хронологическая последовательность «Повести об Исмине и Исминии» и «Роданфы и Досикла» не получила аргументированного обоснования¹.

Единственный факт взаимоотношения этих романов во времени, который можно считать установленным, — это встречающиеся в них примеры сюжетных и лексических совпадений, не восходящие к известным нам произведениям греческих *erotic scriptores*, что ставит «Повесть» и «Роданфу и Досикла» в отношении оригинала и копии, т. е. в разные хронологические плоскости.

Гегер впервые отметил следующие пять мест такого рода совпадений²: Th. Pr., II, 161 сл. = Eum., VIII, 12, 2; Th. Pr., I, 206 сл. = Eum., X, 10, 3; Th. Pr., VIII, 229 = Eum., IX, 5, 3; Th. Pr., VIII, 354 = Eum., IX, 8, 2; Th. Pr., VIII, 363 сл. = Eum., IX, 13, 1.

Бесспорными параллелями являются, однако, только три³. Так как Гегер не сомневался в том, что Евматий был старше Продрома, он рассматривал точки соприкосновения романов как само собой разумеющиеся свидетельства рецепции со стороны автора «Роданфы и Досикла» и не ставил перед собой задачу доказать, почему в том или ином совпадении следует видеть заимствование.

Мы попытаемся, дополнив перечень параллельных мест, обнаруженных Гегером (в настоящей работе привлекается только один пример из этого перечня), выделить среди них такие, которые позволили бы предполагать

¹ В пользу того, что Продром был младше Евматия, высказались: Э. Роде (*E. Rohde. Der griechische Roman und seine Vorläufer. Berlin, 1960, S. 562*), И. Стржиговски (*J. Strzygowski. Die Monatszyklen der byzantinischen Kunst. — «Repertorium für Kunstwissenschaft», 1887—1888 (XI), S. 38*), К. Дитерих (*K. Dieterich. Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur. Leipzig, 1902, S. 43*), А. Гейзенберг (*A. Heisenberg. Eustathios.-RhMus, 58, 1903, S. 427 f.*), О. Герер (*O. Häger. De Theodori Prodromi in erotica fabula 'Ροδάνθη καὶ Δοσικλής fontibus. Diss. Göttingen, 1908, S. 25, 27, 48—49*). Сторонники противоположного взгляда: К. Крумбахер (*K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897, S. 749, 764*; правда, в рецензии на указ. соч. А. Гейзенберга, опубликованной Крумбахером позднее [*Bz, 13, 1904, S. 224*], он признает роман Евматия первым по времени любовным романом из известных нам четырех) и Г. В. Хауссиг (*H. W. Haussig. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttgart, 1959, S. 456*).

² *O. Häger. Op. cit.*, S. 25, 1; 27, 1; 48—49.

³ Th. Pr., I, 206 сл. представляет собой описание распространенного обряда, детали которого неминуемо должны совпадать (речь не идет о лексической близости отрывков), а стихи Th. Pr., VIII, 354 сл. могли, как отмечает сам Гегер, иметь своим источником роман Ахилла Татия (V, 18, 4), который Продром неоднократно использует.

в одном из романов оригинал, а в другом — его копию, т. е. устанавливали бы у подражателя черты, возникновение которых объясняется влиянием предшествовавшего ему образца: при крайне неудовлетворительном состоянии традиции это — единственный путь, чтобы с известной долей вероятности сделать вывод о хронологической последовательности «Повести» и «Роданфы и Досикла».

Обратимся к текстам.

1. Во время трапезы герои (Досикл у Продрома и Исминий у Евматия) сходным образом отвечают на предложение рассказать свою историю — ссылкой на то, что она омрачит их слушателей ⁴.

Th. Pr., II, 161 сл.:

Eum., VIII, 12, 2:

ἢ ποῦ τὸ δεῖπνον, τὴν χαρὰν καὶ τὸν γέλω	φείσασθε . . . δυστοχημάτων ἐμῶν, μὴ τὴν τράπεζαν εἰς κοπετὸν μεταβάλω καὶ πένθους ὑμῶν κρατῆρα κεράσωμαι.
ἐπὶ στεναγμούς ἀξιοῖς ἐπιστρέφειν;	
ἢ ποῦ τὸ καλὸν κόνδυ τῶν κερασμάτων πλήσειν ἀπειρῶν δακρῶν ἐπιτρέπεις;	

Исминий в романе Евматия с полным основанием может опасаться расстроить господствующее за столом настроение: ведь до того как попасть в Дафниполь, где происходит рассматриваемый эпизод, он пережил морскую бурю, утрату возлюбленной, которую на его глазах бросили в море, а после того как моряки высадили его на каком-то пустынном берегу, был двукратно пленен — сначала эфиопскими пиратами, а затем дафнипольскими воинами — и, наконец, перенес унижительное для самолюбия порабощение своими же соплеменниками. Поэтому его слова: «Не воскрешайте. . . мои злосчастья, чтобы ваша трапеза не омрачилась стоном и я не подал вам полной чаши печали» — совершенно естественны: рассказ должен коснуться весьма грустных событий. Сходный ответ Досикла своему гостеприимному хозяину: «Неужели ты хочешь обратить пиршество, радость и веселье в стенания? Неужели побуждаешь наполнить прекрасный кубок вина несчетным множеством слез?» — напротив, звучит странно, если вспомнить, что, в отличие от Исминия, для Досикла обстоятельства сложились очень благоприятно — ему удалось похитить любимую девушку, предотвратив грозящий ей брак с другим, и без помех (не было даже традиционной в сюжете романов бури) доплыть из Авидоса до Родоса, где ему оказали дружеский прием. Тот факт, что слова Досикла плохо вяжутся с контекстом, делает вероятным предположение о вторичности их происхождения: при заимствовании копии обычно выдает себя такого рода непоследовательностями.

Нельзя согласиться с Гегером, привлечшим в этой связи также «Эфиопику» Гелиодора ⁵: τί ταῦτα κινεῖς κάναρχοχλεύεις; τοῦτο δὲ τὸ τῶν τραγῳδῶν οὐκ ἐν καιρῷ γένοιτ' ἂν ἐπεισόδιον ὑμῶν τῶν ὑμετέρων τὰ ἐμὰ ἐπεισφέρειν κακὰ (I, 8). «Зачем вворачаться хочешь ты неистово», как говорится у трагических поэтов. Не ко времени было бы вносить в ващи несчастья как добавление мои собственные».

И тот, и другой из рассмотренных отрывков византийских писателей едва ли могли возникнуть под влиянием этих слов Кнемона из «Эфиопики», поскольку они сильно уклоняются от фразеологии, объединяющей ответы героев «Повести» и «Роданфы и Досикла», произносятся в иной обстановке и иначе мотивированы — ведь вместо нежелания смутить пиршество, чем Исминий и Досикл объясняют отказ рассказать о себе, здесь — опасение пленника печальной историей усугубить угнетенное состояние своих товарищей по несчастью, как и он, попавших в плен к разбойникам.

⁴ Этот пример без комментария привел также Гегер (*O. Häger. Op. cit., S. 25, 1*).

⁵ *O. Häger. Op. cit., p. 25, 1*.

Итак, один из византийских романов — как мы полагаем, «Роданфа и Досикл» — зависел от другого.

2. В романе Продрома сохранился отзвук одного из центральных мотивов «Повести» — жертвоприношения Исмины. Напомним, что, когда на море поднялась сильная буря, кормчий потребовал умиловить Посейдона избранной жребием человеческой жертвой; жребий выпал Исмине, и ее на глазах возлюбленного бросили в море. Эпизод жертвоприношения Исмины угадывается в словах Досикла о том, что он готов предпочесть смерть Роданфы в море угрожающему ей браку с разбойником Гобрием.

III, 435 сл.: Εἶθε πλέουσαν δυστυχῶς Ἀβυδῶθεν // πόντου σε βυθὸς συγκατέσχευεν ἀγρίου. «Пусть бы во время плавания из Авидоса ты была бы злосчастно похищена пучиной бурного моря», и ниже в стихах 444 сл.: Οἰκτρὸν μὲν οἰκτρὸν ταῖς κόραις Δοσικλέος // ἰδεῖν Ῥοδάνθην εἰς βυθὸν κατηγμένην, // εἰς τὴν ἀχανῆ τῆς θαλάττης γαστέρα, // λαθοῦσαν ὑγρὸν καὶ κατάρρυτον τάφον. . . οἰκτρὸν δὲ μᾶλλον. . . // ἄν ζῶσα, φεῦ φεῦ, ἐξ ἐμῆς χειρὸς μέσης // ἐλχθῆς σπαραχθῆς. . .

«Горестно, горестно глазам Досикла было бы увидеть Роданфу погруженной в пучину, в разверстое чрево моря, получившей по жребию (в удел) влажную, залитую водой могилу. . . но еще горестней. . . если бы ты — увы мне, увы — живая была вырвана и исторгнута из моих рук».

Этот второй отрывок отчетливее воспроизводит ситуацию Евматия — девушка гибнет в море на глазах своего возлюбленного и, может быть, ее, как Исмину, обрекает на смерть жребий, если Продром, что вполне вероятно, понимал глагол λαγχάνω в значении «получать по жребию», и не «обретать».

В пользу того, что стихи Продрома — отзвук романа Евматия, говорит также то, что пассаж из «Роданфы и Досикла» обнаруживает лексические точки соприкосновения с VII книгой Евматия, заключающей в себе рассказ о жертвоприношении Исмины и, очевидно, прочно отложившейся в памяти Продрома, так как эти лексические соприкосновения наблюдаются и за границами стихов, непосредственно связанных с описанием участи Роданфы.

Th. Pr., III, 445:

εἰς βυθὸν κατηγμένην

Eum., VII, 14, 2:

ὁ μὲν δὴ τῆς θαλάσσης σάλος ἐφιλονεῖκει τὴν ναῦν εἰς βυθὸν καὶ πυθμένα θαλάσσης καταγαγεῖν

VII, 14, 3:

παραδοθήτω τῷ βυθῷ

III, 447:

λαθοῦσαν ὑγρὸν καὶ κατάρρυτον τάφον

VII, 10, 5:

ὑγρὰν σοι παστάδα πηξάμενος (под παστάς имеется в виду смерть в море)

III, 450 сл.:

. . . φεῦ, φεῦ, ἐξ ἐμῆς χειρὸς μέσης ἐλχθῆς σπαραχθῆς

VII, 14, 2:

χειρῶν τούτων ἐμῶν τὴν κόρην μεθεἰλοντο

VII, 15, 1:

ἀποσπᾶται μου τῶν χειρῶν

VII, 18, 5:

καὶ τὴν Ὑσμίνην . . . ὄλη θρασεῖα χειρὶ (βαβαί) τούτων τῶν ἐμῶν ἀθλίων ἀφαρπάζεται (речь идет о Посейдоне, персонифицирующем здесь море) χειρῶν

Источником реминисценции могло быть, с одной стороны, желание подчеркнуть, как это нередко делалось, свою связь с предшественником по жанру, с другой — желание на известном литературном примере показать читателю, сколь ужасна перспектива брака с Гобрием (он хуже даже знаменитого несчастья Исмины).

В известных нам греческих романах эпизод, полностью соответствующий рассмотренному, не встречается. Возможно, однако, что рассказ Ахилла Татия (V, 7, 4) о том, как на глазах Клитофонта в море бросают обезглавленный труп девушки, которую он принимает за свою возлюбленную, оказал влияние на Евматия и даже на Продрома. Это, однако, не позволяет предпологать независимость византийских романистов друг от друга, так как в их произведениях наличествуют лексические совпадения, не входящие к Ахиллу Татию⁶, а ситуация переработана совершенно одинаково (у обоих имеется в виду живая возлюбленная, а не труп мнимой подруги).

Если наша гипотеза о приоритете Евматия справедлива, то как заимствования из «Повести» следует рассматривать и остальные точки соприкосновения между романами, сами по себе не дающие материала, необходимого для того, чтобы разграничить оригинал и копию. В дополнение к случаям, отмеченным Гегером, можно указать на заимствования ономастики.

Одним из «сигналов» стоящего за текстом образа служило употребление взятых оттуда имен. Евматий, например, желая подчеркнуть свою связь с романом Ахилла Татия, перенимает у него имена героев (Панфия, Сострат, Сосфен) или создает сходные варианты, превращая Родопиду Ахилла Татия в Родопу.

Так же поступали и греческие *erotici scriptores*, которые не только повторяли послужившие старшим романистам имена героев (Харикл встречается у Ахилла Татия и Гелиодора, Хэрей у Харитона и Ахилла Татия, Рода у Ксенофонта Эфесского и Лонга), но нередко намекали на них близкими параллелями: Евгиппа Ксенофонта Эфесского обратилась у Ахилла Татия в Левкиппу; таким же было происхождение имен типа Родопиды Гелиодора, которой предшествовали Родогина Харитона, Рода Ксенофонта Эфесского и Лонга.

Феодор Продром широко пользуется этим способом указания на свою связь с предшественниками по жанру, которых он в той или иной степени использовал⁷: к греческим *erotici scriptores* восходят встречающиеся в его романе имена Митран (Гелиодор), Дриант (Лонг), Миртала (Лонг), Евфрат (Ант. Диоген), Панфия (Ахилл Татий), Андрокл (Ксенофонт Эфесский).

Еще более характерна для Продрома манера несколько изменять заимствованное имя — *Βρόαεις* Лонга превращается в *Βρούαεις*, Артаксат Харитона в Артаксана, Евгиппа Ксенофонта Эфесского в Калиппу, Родан Ямлиха в Роданфу; имя Миртала не только берется неизменным из «Дафниса и Хлои» Лонга, но дает вариант Миртипноя (при этом Миртипноя сделана женой Дрианта, героя того же Лонга); Навсикл Гелиодора становится у Продрома Навсикратом, а Сатир Ахилла Татия — Сатирионом.

Склонность Феодора Продрома к подобного рода ономастическим аллюзиям позволяет сделать выводы и относительно его знакомства с романом Евматия: имя сатрапа Артап, *Ἀρτάπης*, образовано по образцу имени Артак, *Ἀρτάχης*, которым был назван проданный в рабство Исминий, а имя друга Досикла Кратандра — по образцу имени друга Исмины Кратисфена: «сильный муж» или «осиливающий мужей», т. е. Кратандр, — этимологическая параллель к «крепкому силой», т. е. Кратисфену. Не исклю-

⁶ *Ach. Tat.*, V, 7, 4: οἱ λησταὶ . . . ἰσθᾶσιν ἐπὶ τοῦ καταστροφῆματος ὁπίσω τὸ χεῖρε δεξιέρην τὴν κόρην, καὶ τις αὐτῶν μεγάλη τῇ φωνῇ «ἰδοῦ τὸ ἄθλον ὑμῶν» εἰπὼν ἀποτέμνε αὐτῆς τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα ὡθεῖ κατὰ τῆς θαλάσσης.

⁷ О широком знакомстве Продрома с сочинениями греческих романистов см.: *O. Häger. Op. cit.*, p. 7 sq.

цена возможность, что имя Панфия тоже было заимствовано Продромом у Евматия, а не из «Левкиппы и Клитофонта». Очевидно, из Евматия заимствована и пиршественная сцена, где подробно описывается расположение сотрапезников за столом.

Th. P., II, 97:

Ἐν ἄνω μὲν αὐτὸς εἰς κορυφαῖον θρόνον ὁμοῦ καθέσθεις τῷ φίλῳ συνεμπόρω // εὐθὺς δ' ὑπ' αὐτοῦς δεξιὰ Μυρτιπνόη, // καὶ δὴ μετ' αὐτὴν ἡ Ῥοδάνθη, καὶ τρίτη // Μυρτιπνόης παῖς, παρθένος Καλλιχρόη. // τὰ δ' ἔνθεν ἡμεῖς ὑπὸ τὸν Στρατοκλέα, // ἐγὼ μετ' αὐτόν, καὶ κατωτέρω Δρόας. // τρίτος δ' ὑφ' ἡμᾶς ναυτίλος Ναυσικράτης. Οὕτω μὲν εἶχε τῆς καθέδρας ἡ θέσις.

Eum., V, 9, 3:

Ἐκ μὲν οὖν τοῦ τῆς περὶ τὸν κῆπον μέρους τῆς τραπέζης πλευρᾶς πατὴρ ἐμὸς Θεμιστεύς καὶ μήτηρ Διάντεια καὶ τρίτος ἐγὼ, ὅλον ἀποθέμενος τὸ κηρύκειον· ἐκ δὲ θατέρου Σωσθένης πατὴρ Ἰσμίνης, Πανθία μήτηρ· καὶ μετὰ δὴ τὴν μητέρα τὴν Ἰσμίνην ἡ τάξις ἐκάλεσεν· ἐγὼ γοῦν καθ' αὐτόν τὴν τάξιν ἐπήγεσα καὶ ταύτης ἐμαυτὸν ἐμακάρισα, τὸ πρᾶγμα κρίνων οἰωνὸν αἰσιώτατον, κάξ αὐτῆς, ὃ φασὶ γραμμῆς, εὐτυχεῖν ἐδόκουν τὸν ἔρωτα.

То, что образцом для Продрома был здесь роман Евматия, а не аналогичная сцена из Ахилла Татия (I, 5, 1—2), послужившая, как известно, Евматию источником, выдает встречающаяся в «Повести» и повторенная Продромом деталь — сочетание «третий/я — NN», которая отсутствует в «Левкиппе и Клитофонте»:

καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν, συνεπίνομεν κατὰ δύο τὰς κλίνας διαλαχόντες, οὕτω γὰρ ἔταξεν ὁ πατήρ· αὐτὸς ἀγὼ τὴν μέσην, αἱ μητέρες αἱ δύο τὴν ἐν ἀριστερᾷ, τὴν δεξιὰν εἶχον αἱ παρθένοι. Ἐγὼ δὲ ὡς ταύτην ἤκουσα τὴν εὐταξίαν, μικροῦ προσελθὼν κατεφίλησα τὸν πατέρα, ὅτι μοι κατ' ὀφθαλμοῦς ἀνέκλινε τὴν παρθένον.

Данные текстов, находящиеся в нашем распоряжении, позволяют сделать лишь гипотетические выводы. Однако, как мы попытаемся показать в другом месте, они вполне согласуются с просопографическим и титуловедческим материалом, согласно которому творчество Евматия Макремовлита относится к концу XI — первой половине XII в.